

The background of the book cover features a low-angle shot of a tree trunk and its branches against a warm, orange-hued sky at sunset or sunrise. The tree's silhouette is dark and detailed, with the trunk showing characteristic bark texture. The sky is a gradient of orange and yellow, with a bright light source visible through the branches.

Леонид Жуховицкий

**ЖИЗНЬ  
в сумерках**

Последний шестидесятник

Леонид Жуховицкий

**Жизнь в сумерках.**  
**Последний шестидесятник**

«Издательские решения»

**Жуховицкий Л. А.**

Жизнь в сумерках. Последний шестидесятник /  
Л. А. Жуховицкий — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-938671-7

«Жизнь в сумерках» — новая книга прозаика и публициста Леонида Жуховицкого. Последний шестидесятник — так писатель говорит сам о себе. Он был всю жизнь дружен с выдающимися писателями и поэтами «оттепели». Все они ушли... Леонид Жуховицкий остался. Чтобы помнить и свидетельствовать. В книгу вошли воспоминания о друзьях-писателях, полемические эссе о современном устройстве России и глубокие размышления о жизни, где на первом месте стоят ценности настоящей дружбы и любви.

ISBN 978-5-44-938671-7

© Жуховицкий Л. А.  
© Издательские решения

## Содержание

Часть первая. Свидетельство очевидца	6
Я дружил с Борисом Васильевым так долго	6
Замешано на совести	12
Жизнь в сумерках	13
Вот бежит собака	16
Воспоминание об утке по-пекински	17
Витя и Витя	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

# **Жизнь в сумерках Последний шестидесятник**

**Леонид Аронович Жуховицкий**

*Редактор* Мария Романушко

*Редактор* Алёна Леонидовна Жуховицкая

© Леонид Аронович Жуховицкий, 2018

ISBN 978-5-4493-8671-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Часть первая. Свидетельство очевидца

### Я дружил с Борисом Васильевым так долго

Я дружил с Борисом Васильевым так долго, что уже не помню, когда мы познакомились. Судя по всему, в самом начале семидесятых. А вот как познакомились, помню очень хорошо.

Время тогда было своеобразное. С одной стороны, унизительно скудное. Полки магазинов были пусты, электрички, ползущие в Москву из Ярославля и Рязани, именовались «колбасными», нужные лекарства можно было добыть разве что в кремлевской аптеке, любители «сладкой жизни» по пять часов стояли в ГУМе за кроссовками, а доктор наук, съездивший на конференцию в Варшаву, считал, что повидал мир. С другой стороны, два билета на «Таганку» открывали двери в подсобку любого универмага, а однотомник Ахматовой во всей огромной стране был более конвертируемой валютой, чем нынче доллар.

Для писателей, достойных этого названия, время было далеко не худшее – хотя ясно это стало лишь годы спустя. Да, печататься было тяжело, да, жилось бедно, да, в издательствах и журналах на самых лакомых местах угрелись «патриоты» при КГБ. Но зато читательские встречи с честными поэтами и даже прозаиками, собирали полные залы в домах культуры, а то и дворцы спорта. В те годы живое слово ценилось не меньше, чем напечатанное.

На встрече с читателями, если не ошибаюсь, московскими учителями, мы оказались рядом за столиком на сцене. Естественно, поздоровались. Потом Васильев что-то спросил. Я ответил, назвав его Борисом Львовичем – ведь он был старше меня на восемь лет, а, главное, как тогда говорили, на целую войну. Он небрежно отмахнулся:

– Какой я тебе Львович? Ты писатель, и я писатель. Ты Леня, я Боря.

С тех пор так и пошло: я Леня, он Боря.

Дружить с Васильевым было легко: ни слава, быстро ставшая мировой, ни Государственная премия, полученная им не за прозу, а за сценарий, ни депутатство во впервые избранном Верховном Совете никак на нем не отразились. С поразительной естественностью он оставался самим собой. Этому помогала его постоянная погруженность в работу. Он написал не просто много – фантастически много. Романы, повести, сценарии, пьесы следовали друг за другом, практически, без перерыва. И все это была по-настоящему качественная литература! Не только его главные, всем известные книги, но и такие, куда менее прославленные вещи, как «Вы чье, старичье?» или «Жила-была Клабочка», по сюжету, по любви к героям, да и просто по уровню письма достойны стоять в первом ряду прозы Двадцатого века.

В так называемом литературном процессе Васильев не участвовал. Не могу представить его редактором журнала или секретарем союза писателей на хорошей ставке. Он не стоял в очередях за орденами и премиями, за казенными квартирами и дачами. Все, что имел, было честно куплено на честные гонорары. Любопытно, что о литературе мы с ним, если и говорили, то очень редко – он почти не следил за журнально-издательской текучкой, которая вольно или невольно отвлекла бы от главного дела жизни – работы за столом. Даже о классиках не говорил. Лишь однажды (потому и запомнилось) Боря задал неожиданный вопрос:

– А знаешь, кто лучший писатель в мире?

Я пожал плечами.

– Диккенс, – сказал Васильев. И объяснил: – Потому, что добрый.

Для него этот критерий был бесспорен.

Но, равнодушный к литературному процессу, Борис постоянно и пристрастно следил за процессами жизненными. Его до сих пор знают и заслуженно любят как прекрасного прозаика. Куда меньше он известен как публицист. А это глубоко несправедливо! Васильев был

первоклассным публицистом, думаю, одним из самых ярких и глубоких за всю историю России. Он блестяще знал историю страны, историю языка, историю русской армии. Многие детали в его статьях просто поражали. Помню, он написал, как можно было вычислить, сколько в военных училищах времен Первой мировой войны было детей кадровых офицеров и сколько выходцев из иных сословий – надо было после обеда заглянуть в столовую. Отпрыски дворян, встав из-за стола, ставили стул на место, а дети купцов и мелких чиновников этикетом не заморачивались, их стулья так и болтались посреди зала...

Сам Борис происходил из офицерской семьи. Его отец служил сперва в царской армии, потом в Красной. Противоречия в этом не было никакого: отец не был политиком, и там, и там служил России. Несколько раз я слышал от Бори, что победа красных в Гражданской войне и в борьбе с интервенцией не была случайной: именно кадровые российские офицеры, которых расставлял на командные посты Троцкий при поддержке Ленина, обеспечили успех новой власти. Отца Борис вспоминал охотно и часто, всегда с огромным уважением. Именно так, по прямой линии, из рук в руки, получил он и точное представление о русском военном сословии, и, до последних дней, прямую спину, и офицерское понятие о чести. Васильев никогда не клялся в великой любви к отечеству, не рвал рубаху на груди, не кичился предками – но честь была у него в крови. И его книги, прямо или косвенно, всегда о людях чести.

Все десятилетия после великой победы в нашей печати шла жестокая полемика – чья это победа? Официальная критика делила военную прозу на лейтенантскую и генеральскую, на окопную и штабную. Причем, к лейтенантской и окопной относилась пренебрежительно – мол, много ли видели из своего грязного рва пацаны, прямо со школьной скамьи загремевшие в училище и дальше на фронт? По мнению державников, победа ковалась в Кремле, в кабинете мудрого Сталина. И Москву спас именно он. И Ленинград отстоял Жданов.

Васильев в полемику не вступал. Но все его военные повести до сих пор стоят на пути у тех, кто норовит украсть у народа его победу. Девчонки, стоявшие насмерть и погибшие на второстепенном участке фронта, их командир с четырехклассным образованием, не произнесший за всю повесть ни единого громкого слова, неизвестный солдат, забытый в осажденной крепости, сам себе и начальник, и подчиненный – миллионы таких, как они, выиграли самую страшную войну в истории России. Вся проза Васильева говорит об этом.

Боря был высокообразованный человек, в кругу близких тем просто энциклопедист. Мне запомнился такой случай.

Однажды Васильеву прислал хамское письмо какой-то не слишком грамотный «патриот» упрекнувший писателя как раз в отсутствии патриотизма. Дескать, все его герои носят не слишком славянские имена, ни одного Ивана или Марья. Не потому ли это происходит, что сам автор Борис, да еще и Львович?

Васильев решил ответить печатно. С жесткой вежливостью он объяснил агрессивному адресату, что как раз Иван и Марья по происхождению типично еврейские имена, а Борис и Лев традиционно русские: Борисом звали Годунова, а отцом Пушкина был Сергей Львович. Но поразило не это: по ходу письма Боря привел все до единого, числом одиннадцать, мужские славянские имена, дошедшие до наших дней. Он и это знал!

Когда в Кремле закончили реставрировать и обустроить Большой дворец, Пал Палыч Бородин, широкий, в чем-то наивный человек, в благодарность за постоянную моральную поддержку пригласил Римму Казакову с друзьями-литераторами полюбоваться результатом. Римма позвала меня, я Васильева. Боря долго изучал панно, посвященные Бородинской битве – искал имя генерала Алексева, своего прямого предка, одного из героев великой баталии. Это родство воспринималось им не как предмет гордости (происхождение не заслуга!), а как обязанность соответствовать давней семейной традиции. Кстати, одна из лучших его статей называлась «Честь имею!», и речь в ней шла не о гордости, а именно об обязанности иметь

честь. Васильева как публициста я узнал очень хорошо еще и потому, что участвовал с ним в двух общих, как сейчас сказали бы, проектах.

Первый возник в романтическую эпоху перестройки, когда все понимали, что как прежде жить нельзя, страна развалится, а вот как нужно, никто толком не знал. Разрешили кооперативы, еще какую-то экономическую деятельность, страна постепенно оживала, появился робкий мелкий бизнес.

Впрочем, тогдашний бизнес заслуживает отдельного разговора.

Ранний российский капитализм был авантюрен, красочен и по-человечески красив. Возник он ниоткуда, из фарцы, из мартовской торговли мимозами, из подпольных или просто подвальных крохотных цехов, преступно спасавших голодное и оборванное население в эпоху тотального дефицита. Модные джинсы кроились на кухонном столе и прошивались желтыми нитками, пока не распространился откуда-то взявшийся слух, что в Калифорнии нынче в ходу фиолетовые. Нищие студенты продавали в подземных переходах гипсовые брошки в форме бабочек – их разбирали, потому что даже убогая бижутерия была лучше, чем «деревянные» рубли, которые уже ничего не стоили, потому что на них ничего нельзя было купить. Помню объявление в газете какого-то тинэйджера, предлагавшего потенциальному заказчику любое время стоять за него в очереди – и такой бизнес существовал! Гением этого периода стал Саша Паникин, выпускник экономического факультета ГИТИСа, курчавый богатырь цыганского вида и темперамента, без капиталов и блага создавший на пустом месте огромный концерн «ПАНИНТЕР» на три тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест. Безотцовщина, поселковая шпана, он начал предпринимательскую карьеру в двенадцать лет перепродажей билетов в кино, а к институтским годам обладал уже смекалкой, бесстрашием и опытом, достаточным для серьезного дела. Увы, в пятьдесят лет не выдержало сердце – почему-то России с долголетием талантов не так уж часто везет...

Спустя короткое время романтика раннего капитализма кончилась – чиновники и бандиты, почуяв запах серьезных денег, с двух сторон подступили к начинающим российским предпринимателям с уголовным требованием «делиться». А потом бандиты намертво сплелись с чиновниками – этот альянс до сих пор душит страну. Но тогда, в первый период свободного рынка, все было ярче и простодушной.

Как-то мой друг, журналист-международник Гена Ариевич, привел ко мне симпатичного мальчишечку девятнадцати лет. Мальчишечка сел прямо на пол, на потертый ковер, и изложил свою проблему.

Оказалось, парень в свои девятнадцать уже миллионер – разумеется, рублевый, доллары тогда были в диковинку. Так вот он, торгуя какой-то электроникой, приобрел свой миллион, а потом уткнулся в тот же тупик, что когда-то Остап Бендер: на что потратить? К яхтам и квартирам в Майами еще не было не только привычки, но даже тяги, да что там, в подмосковные особняки заселялись разве что члены ЦК КПСС. И мальчишечка, со школы уважавший Пушкина и Лермонтова, решил заняться благотворительностью в сфере культуры. А я должен был выдать на-гора какую-нибудь перспективную идею.

Идея у меня возникла мгновенно.

К тому времени уже появилось много новых журналов и газет, на фоне этого многообразия тиражи резко упали, и талантливые публицисты, которых прежде делили между собой «Новый мир», «Огонек», «Юность» и «Литгазета», потерялись в сотне конкурирующих изданий. И я с огорчением понял, что уже не знаю, как нынче относятся к быстрым переменам в жизни люди, чье мнение я уважал. Вот я и предложил создать новый журнал, в котором бы из номера в номер печатались одни и те же авторы, мои умные друзья: Юра Черниченко, Коля Шмелев, Вася Селюнин, Лева Аннинский, Андрей Нуйкин, Алесь Адамович и, конечно же, Боря Васильев. Ну, и еще пять-семь человек. Мне казалось, что такая концентрация мозгов совместными усилиями вдруг да и высечет искру, из которой, Бог даст, разгорится разумное,

доброе и вечное пламя. Тут же придумалось название журнала: «Московский клуб». А раз есть название, почему бы не затеять реальный клуб с тем же титулом?

Идея пришлась по душе и мальчику-меценату, и Гене Ариевичу. Не откладывая дело в долгий ящик, мы, уже не помню, где, собрали всю нашу компанию и основали «Московский клуб». Адамович на первое заседание не смог прийти, и мы, ухмыляясь, в наказание избрали его президентом клуба.

Смех смехом, а журнал стал выходить: Гена, журналист со стажем, наладил отношения с типографией, нашел хорошего художника, и проект состоялся. Не помню, сколько вышло номеров, что-то от семи до десяти. Честно скажу, лучшего журнала я никогда в своей жизни в руках не держал: неожиданные мысли, блестящий язык, острейшая проблематика и глубина, до которой прочие издания не добирались. К сожалению, журнал жил недолго: юный меценат потратил свой миллион, заработать новый не сумел, и «Московский клуб» умер типичной смертью интеллигента – от безденежья.

Боря публиковался, практически, в каждом номере. И мне быстро стало ясно, что сильнее Васильева публициста в России просто нет. Равных мог бы назвать: Черниченко, Адамович, Шмелев, еще два-три человека. Но лучше не знаю никого.

Второй, если можно так выразиться, проект возник позже, в 1996 году. Готовились очередные президентские выборы, в первом туре никто не набрал больше половины голосов. Во второй тур вышли Ельцин и Зюганов. Возникла крайне сложная ситуация. Шла чеченская война, и у значительной части интеллигенции, в том числе, литературной, была резкая неприязнь к Ельцину – в Кавказской войне винили именно его.

От позиции ведущих московских писателей, тогда еще очень популярных, зависело многое. Чтобы окончательно определиться, мы собрались в кабинете Анатолия Приставкина, в ту пору работавшего в администрации президента председателем комиссии по помилованию. Кабинет был бывший суловский, огромный, солидный и бездарный. Собралось человек, наверное, двадцать пять. Спор был долгий и тяжелый, с упором на ту же чеченскую войну. Литераторы, которых нельзя было не уважать, говорили – «Кто угодно, только не Ельцин». Я был среди тех, кто отстаивал иную точку зрения. Претендентов после первого тура осталось всего двое. В этой ситуации «кто угодно» – лукавый, лживый и трусоватый Зюганов, за спиной у которого корыстная и озлобленная коммунистическая номенклатура, в начале девяностых развалившая СССР. Позволить им развалить Россию?

Аргумент сработал: решили поддерживать Ельцина. Для координации этой работы выбрали меня.

Что реально мы могли сделать?

Могли очень многое. Лучшие писатели России стали выступать в центральной и региональной печати со статьями в защиту будущего страны. До сих пор помню замечательные работы Бориса Васильева, как всегда, глубокие и убедительные. Любимых писателей охотно печатали газеты по всей России. Программа была благотворительной: дружественный провайдер рассылал статьи по всем регионам, в которых была компьютерная связь, а газеты печатали, что хотели. Статьи Васильева шли первым номером, очень редко их публиковало меньше сотни изданий.

Любопытно, что у нас не было никакой конторы – ни помещения, ни штата, ни даже юридического адреса: все творилось буквально на коленке. С тех пор мне кажется, что настоящая работа должна делаться именно так.

На выборах победил Ельцин. Конечно, не благодаря нам, но и не без нашей помощи.

Выборы прошли. Но программа осталась: региональные газеты забросали меня звонками и письмами с просьбами продолжать начатое. Мы и продолжали: каждую неделю в регионы уходило когда три, когда даже пять статей. Программа называлась «Золотое перо». Она рабо-

тала двенадцать лет! И редкая неделя проходила без полемических размышлений Бориса Васильева. Представляете, каково это: быть интересным каждую неделю в течении двенадцати лет!

Замечательный поэт Владимир Корнилов написал однажды о жене Достоевского: «Больше российской словесности так никогда не везло». Володя ошибся – он не был знаком с Зорей Васильевой...

Среди писательских семей эта была долгожительницей – Боря и Зоря прожили вместе больше шестидесяти лет. И как прожили! И через что прошли!

Васильев не раз вспоминал, как они познакомились в артиллерийской академии, как Зоре, круглой отличнице, поручили на комсомольском собрании готовить к сессии отстающего сокурсника, как они ехали в ЗАГС на подножке трамвая. И – как, гуляя, забрели нечаянно на минное поле, и Зоря настояла, чтобы на обратном пути она шла впереди – ведь она маленькая и легкая, на нее мина не среагирует. У них в жизни были всякие времена, и безденежье, увы, не обошло. Чтобы Боря мог спокойно писать, Зоря продолжала работать, редактором на телевидении. Работа была ей привычна, а вот дорога... Они ведь жили не в Москве, а в Солнечногорске. Сперва автобус до станции, потом электричка до Москвы, потом метро, потом снова автобус... А вечером все то же в обратном порядке. Как она это выдержала? Выдержала...

Мы с моей тогдашней женой ездили к Васильевым несколько раз в месяц, обычно по выходным. Слава Богу, не как гости, с ритуальным тортиком или букетиком. Звонили Зоре, и она говорила, чего в доме нет. Например, картошки, или подсолнечного масла, или черного хлеба, или, иногда, водки. С военных времен оба они, Боря и Зоря, пили именно водку. Понемножку, по чуть-чуть. Потом Боре врачи запретили эту малую радость. Но рядом с его тарелкой все же стояла крохотная серебряная стопочка, на полглотка. Под строгим присмотром жены Боря ее выпивал. А потом говорил мне:

– Пошли, погуляем.

И мы шли гулять. Но – недалеко, до дровяного сарая. Там, среди поленьев, у Бори была заначка – бутылка и пластмассовый стаканчик, с помощью которых он добирал до нормы. Потом наши прогулки до сарая прекратились – Боря чувствовал себя заметно хуже, а потом и вовсе плохо. Причину я знал: лет десять назад Зоря мне сказала:

– У нас рак.

Рак был у Бори. Но Зоря не оговорила: за долгие годы, прожитые вместе, все у них стало общим – в том числе, и Борин рак. Более того, первым номером против проклятой болезни боролась именно Зоря: она покупала нужные таблетки, следила за их приемом, вместе с мужем ходила по врачам, дружила с ними, время от времени укладывала Борю в больницу и в результате выиграла у онкологии минимум пятнадцать лет. А то и больше.

Их любовь и согласие, увы, никак не походило на долгую и беспечальную совместную жизнь гоголевских старосветских помещиков, на их сентиментальную старость. Вскоре после войны по Васильевым жестоко проехала подлая сталинская реальность. Пресловутая «борьба с космополитизмом» ломала судьбы и разваливала семьи. Боря был русским, Зоря, увы, нет. От Васильева, а он был тогда членом партии, требовали, чтобы он развелся с подозрительной женой или, как минимум, выступил на партсобрании с докладом о врачах-вредителях. Он решительно отказался. Пригрозили исключением из партии и, как следствие, крахом всех жизненных планов. Васильев отказался, и тем спас не только потомственную офицерскую честь, но и душу для будущей литературной деятельности. Те, кто в схожей ситуации оказался послабее, кто продал родных, друзей и учителей, заплатили за карьеру творческим бесплодием. Васильеву еще и повезло: вурдалак умер вовремя, за несколько недель до намеченного судилища над строптивым членом коллектива.

Впрочем, обо всем этом Васильев написал лучше, чем я смог бы пересказать.

Васильевы жили уединенно, вдали от шума городского, в лесу на выезде из Солнечногорска. Для писателя лучше не придумаешь. Но благодаря Зориному гостеприимству людей к ним приезжало немало. Бывали и случайные гости. Нередко совсем посторонние люди просили «свозить их к Васильевым» – в этом было понятное и вполне извинительное желание посмотреть вблизи на живого классика, на дом, на быт, на обеденный стол. Ведь даже в таком коротком полуобщении порой удается не узнать, так почувствовать нечто важное для собственной жизни. Помню, мой друг Зорий Балаян, писатель, журналист и авантюрист, под каким-то предлогом зашел в Москве к Андрею Дмитриевичу Сахарову. И потом с боязливым восторгом рассказывал мне, что в узком коридоре квартиры у Курского вокзала не было видно стен – сплошные книги!

Однажды Васильевым очень повезло – так же случайно кто-то привел к ним Илью Урилова, дагестанца, доктора исторических наук, члена Российской академии, по стечению обстоятельств еще и удачливого предпринимателя. Илья увидел не просто живого классика – он увидел большой деревянный дом, неудобный, разваливающийся, и в нем двух стариков, слишком слабых и безденежных, чтобы в этом жилище наладить хоть элементарно приемлемый быт. Зоря рассказывала мне: Илья сказал, что она напоминает его мать, и он просит разрешения помочь ей, как помог бы матери. Он нашел рабочих, оплатил ремонт и привел дом в жилое состояние. Не знаю, на сколько это продлило жизнь писателя Васильева, но продлило точно.

В одной из своих записей Боря признался, что больше всего хотел бы умереть раньше Зореньки. Увы, не сбылось. Зоря в последние годы часто болела, но, то ли не принимала свои хворости всерьез, то ли старалась не огорчать мужа и, по крайней своей деликатности, беспокоить друзей. Поэтому смерть ее показалась неожиданной.

По родным и друзьям она ударила, а Борю – убила. На поминках мы сидели рядом, и сразу почувствовалось, что вместе с Зорей ушла и Борина жизнь. Он невнятно бормотал что-то горькое, от железной офицерской выправки не осталось и следа. У них было шестьдесят пять лет общей жизни, одной на двоих, и хоть он был великий писатель, а она всего лишь писательская жена, после ее ухода жить обломком этой долгой общей жизни Боря не хотел, да и не сумел бы. Практически, он умер в тот же день, что и она, просто его умирание растянулось на два месяца. На большее сердца не хватило.

Почему-то мы верим сказкам больше, чем тому, что происходит на наших глазах. Сейчас в качестве эталона идеального супружества стараются внедрить старую легенду о Петре и Февронии. Может, стоит за этой историей что-то реальное, может, нет. В любом случае, посмертной славы никому не жалко. Но я бы хотел, чтобы очень долгая общая жизнь Бори и Зори Васильевых – пример любви, заботы друг о друге и высочайшей человеческой верности – осталась и в нашей памяти, и в памяти наших внуков. Ведь эта единая жизнь мужчины и женщины не придумана, не приукрашена стараниями потомков – она реально была. Десятки людей тому свидетели. Я в их числе.

## Замешано на совести

Когда-то Олег Табаков сказал мне о молодом «Современнике»: «У нас все было замешано на совести». Эта формула кажется мне универсальной для любого творческого дела. Вот и в еженедельнике «Деловой вторник» все было замешано на совести.

Создал это уникальное издание Федя Сизый – журналист, авантюрист, романтик и просто очень хороший человек. Принято говорить, что хороший человек это не профессия. Никогда не соглашался. Хороший человек это профессия, и очень важная, просто за нее денег не платят. В этом ремесле тоже все на совести.

Федю нельзя было не любить. Его и любили самые разные люди, и власть имущие, и ничего не имеющие. Любили и помогали, кто чем может. Писатели и журналисты первого ряда охотно печатались в «Деловом вторнике», хотя гонораров там не было – нечем было платить. Иногда Федя выдавал нечто вроде премиальных, уж не знаю, из каких кладовых Родины ухитрялся он раздобыть золото-серебро на хлеб насущный авторам. Но печататься у него было честью и радостью – уж больно компания в еженедельнике подобралась хорошая. Иногда по праздникам души мы собирались вместе, и я поражался, сколько талантливых, честных и независимых людей есть еще в нашем сложном отечестве. Мы все дружили между собой: «Деловой вторник» объединял нас и подчеркивал, что в главном мы единомышленники.

Смерть Феде на пятьдесят втором году была неожиданным и страшным ударом. Над гробом мы все обещали продолжить его славное дело. Легко было предположить, что эти обещания из разряда тех клятв, которые выветриваются если не к девятому дню, то уж к сороковому точно. Но, все-таки, есть на свете чудеса – сегодня мы отмечаем двадцатилетие со дня рождения удивительного еженедельника. Слава Богу, у нас все было замешано на совести. А совесть – самый прочный строительный материал.

## Жизнь в сумерках

Есть писатели, которых можно перечитывать бесконечно. Такие, наверное, у каждого свои. У меня – Чехов.

Почему не Толстой? Слишком велик, слишком мощен, слишком бесспорен. Его герои словно топором вырублены из прочнейшего дуба. Такие, как написаны, и иными их представить невозможно. Все досказано, все доказано. Толстой видел жизнь на такой глубине, на какой никто не видел, со всеми ее корнями. Он пророк библейской силы, и чем дольше мы живем, тем больше понимаем его правоту. Спорить с ним бессмысленно, сомневаться можно, но бесполезно: как он сказал когда-то, так и есть.

Почему не Достоевский? Достоевского в молодости надломила власть, не из ненависти, не от понимания масштаба – просто потому, что под руку попался. Он и на эшафоте постоял, ожидая смерти, и «мертвого дома» изведаль. Потому и писал всю дальнейшую жизнь так, словно за спиной его молчаливо стоит жандарм, а то и палач. В глубинах человеческой психологии был свободен, как никто другой. А вот жил и писал так, чтобы ненароком не задеть государя императора. Толстой высшую власть презирал, порой ненавидел, а Достоевский принимал ее как неизбежный и опасный факт.

Оба проповедники, хотя и разные. И того, и другого перечитывать тяжело.

А Чехов писал так, словно власти в России нет вообще. Мелькнет где-то околоточный, или генерал, или даже губернатор – но они просто чиновники, слабые люди, пешки на доске жизни, не грозные, порой даже анекдотичные. «Хоть ты и седьмой, а дурак».

Вообще, перечитывать любимые книги опасно. Однажды меня поразил разговор с близким другом, знаменитым экономистом и прекрасным писателем Николаем Петровичем Шмелевым. За несколько месяцев до его смерти, когда трагедии еще и в намеке не было, говорили мы по телефону, и я спросил:

– Коля, а что ты сейчас читаешь?

– Да вот решил перечитать «Тихий Дон».

– И как? – спросил я с надеждой на восторженный ответ, должно же в нашей общей профессии быть хоть что-то незыблемое. Но случилось неожиданное. Коля ответил растерянно:

– Знаешь – плохо.

Я тоже растерялся: выходит, и на Олимпе не боги живут...

Впрочем, и у меня бывало подобное.

Когда-то в Курске мне попаласть растрепанная, жестоко зачитанная книжка раннего Паустовского «Романтики». Сколько мне было тогда – двадцать один, двадцать два? Я был заворожен красотой и языка, и сюжета, и характеров, и внутренней музыки текста. Эта музыка жила во мне много лет, и влияла на все, что я пытался писать. А позже, в тридцать с чем-то, я достал собрание сочинений тогда еще живого классика и сразу полез в любимый роман. Прочитал страниц двадцать, больше не смог, мешало разочарование. Конечно, виноват в этом был не Паустовский, а я. Опасно в зрелом возрасте перечитывать романтиков! Пусть их внутренняя музыка живет в нас долгие годы, иногда всю жизнь, пусть светит и греет, помогает переносить неизбежные беды и тяготы. А перечитывать – рискованно...

Нечто подобное получилось у меня с «Тремя товарищами» Ремарка – книгой, которая в свое время изменила отношение миллионов россиян к немцам, вчерашним врагам, жестоко ненавидимым. А тут вдруг оказалось, что и Роберт, и Пат, и Ленц, и прочие герои романа, такие обаятельные и близкие нам – тоже немцы. Их ведь невозможно было ненавидеть! При Гитлере книги Ремарка жгли на площадях – а после разгрома Германии в самой справедливой из войн именно книги великого писателя в первую очередь спасли поверженную страну от вполне заслуженного всеобщего презрения. Я прочел «Трех товарищей» вовремя. А время

спустя попытался перечитать, наткнулся на какие-то слабости и бросил, чтобы не губить ту самую тайную музыку.

Даже великие книги надо читать вовремя!

Но, с другой стороны...

Лет десять назад я собрался перечитать «Войну и мир», величайшую прозу в истории мировой литературы. Даже американский гений Хемингуэй написал как-то, что с готовностью вышел на ринг против Тургенева и Чехова, но никогда не решился бы биться с Толстым – безнадёжно, никаких шансов... Результат моей встречи с толстовской эпопеей был парадоксален. В художественной ткани я увидел целый ряд нечетких, психологически недостоверных мест – зато был потрясен мощью философских отступлений, которые в мои школьные и студенческие годы считались слабыми, откровенно наивными из-за понижающего их «толстовства». Но при взрослом прочтении мысли классика поразили своей пророческой правотой.

Кстати, в свое время Лев Николаевич предостерегал от пролетарской революции, считая, что она не уничтожит деспотизм, ибо тиранами и деспотами станут руководители восставших рабочих. Теперь, полтора века спустя, мы уже можем судить, кто был прав – писатель или его советские критики? Однако, что делать, если из-за бездарного правления народ нищает, а «тираны и деспоты» не хотят уходить добровольно? В демократических странах проблема решается на выборах. А в тоталитарных? Увы, я не знаю ответ на этот вопрос...

Ладно, вернемся к Чехову.

Почему его можно перечитывать бесконечно, с любой страницы любого тома? Почему, наконец, он сегодня самый репертуарный драматург мира, и его без конца ставят в разных концах планеты?

Видимо, дело в том, что все произведения Антона Павловича о частной человеческой жизни. Войны, победы, поражения, восстания, смены режимов – все это мимо него, мимо его героев. Они живут здесь и сейчас, и решают самые важные проблемы человека: кого любить, с кем дружить, кому помогать, кого защищать от бесчисленных несправедливостей бытия, от бедности до одиночества. А ведь все войны и победы бессмысленны, если не удастся избавить людей хотя бы от одиночества. И писатель постоянно напоминает, что главные проблемы жизни способны решить только мы сами. Парадоксально, но один из величайших злодеев в истории, Сталин, тоже любил Чехова. Может, и он мучился от одиночества, от пресной жизни без дружбы и любви? Или просто пытался обезболить погибшую душу тонкими, мудрыми, текстами на языке, так и не ставшим для него родным?

Первый серьезный сборник Чехова назывался «В сумерках». Писателя и называли певцом сумерек. Слово «певец» Антону Павловичу не идет, слишком красивое. Но писал он, действительно, о сумеречном времени, потому, что и жил в сумеречное время.

При этом Антон Павлович был очень своеобразным классиком. Во времена его молодости началась и закончилась русско-турецкая война. В творчестве Чехова она не отразилась никак. Вскоре после его смерти Россия проиграла две тяжелые войны – с Японией и с Германией. Блок предвидел грядущие катаклизмы, Чехов нет. Не обладал пророческим даром? Думаю, писателя просто не интересовали жестокие игры великих держав, кровавые развлечения монархов и диктаторов. Его стихия – катастрофы, происходящие в кругу соседей и родственников, за самоваром, за дачным столом. Бурю в стакане чая Чехов описывал с такой же глубиной и пронзительностью, как Пушкин Полтавское сражение, а Толстой Бородинское. Великие битвы бывают редко, а чай мы пьем каждый день. И во время этой невинной процедуры миллионы людей теряют силы, счастье, порой и жизнь. Чехов – гений будней, потому и близок хоть русским, хоть французам, хоть англичанам.

Сегодня над нами серое, унылое небо. Не рассвет, не солнечный полдень, слава Богу, и не ночь. Сумерки – самое чеховское время. Тихая пора, полная скрытой тревоги. Жить все труднее, страна сползает вниз по склону. Однако чеховские герои как-то жили, и мы как-то

живем. Терпим. Приспосабливаемся. За отсутствием государственных свершений, начинаем больше ценить любовь и дружбу, взаимовыручку, помощь ближнему, от соседа по подъезду до приبلудной дворняжки.

А если станет еще хуже, еще беднее, еще беспросветней – что тогда?

Тогда еще раз перечитаем Чехова.

## Вот бежит собака

В подмосковном поселке по обочине шоссе бежит собака. Трусит кое-как, никуда не торопится. Мимо машины в большом количестве, ибо шоссе бойкое, по сторонам бесконечные коттеджные городки с завлекательными титулами: «Княжье озеро», «Маленькая Италия», «Зеленый оазис». Ограды высокие, дома богатые, в каждом две машины, а то и три. Вот и мчатся иномарки в обе стороны, люди тоже идут, кто к магазину, кто к автобусу, кто к стоянке такси. А собака неспешно перебирает короткими лапками.

Маленькая шавка, из тех, что до веку щенок, бестолково лохматая, без ошейника, явно ничья и породы никакой. Как выживает, известно только ей. Впрочем, догадаться легко: ребятня подкармливает, бабули выносят косточки, даже зимой кто-то живет в сторожках или в местных деревнях.

А мне греет сердце вот что: ничья собачонка бежит вдоль шоссе и ни на кого не оглядывается, никого не опасается и не ждет, что какой-нибудь балбес пнет ее походя со всей дури. Не опасается – значит, до сих пор не пинали.

А ведь это бестревожное существование когда-то было правилом. Давно, правда, еще в Раю. Там, где никто никого не давил и не грыз, где тигр и лань мирно пили из одной речушки, где любопытная Ева, воровато озираясь, еще не вцепилась в запретное яблоко.

Между прочим, Еву с Адамом выставили из Рая за очевидный грех. А собака? Ее ведь никто не выставлял. Могла бы и доныне слушать пение ангелов. Так ведь нет – сама, добровольно, кое-как перебирая короткими лапами, побрела за несчастным Адамом в холодный необжитый мир. Такой, видно, характер: не могла бросить одного в паре с ненадежной Евой.

А ошейник – зачем ей ошейник? Чтобы не убежала? Она ведь и так не убежит. Это мы привыкли думать, что Адам ей хозяин, она-то считает, что друг. А собаки друзей не бросают. Жена уйдет, дети уйдут – собака останется.

Райскую жизнь построил Бог. А эту, которой мы все на Земле живем, сами люди. И ходим, опасливо косясь то на соседа, то на чужеземца, то на начальника, то на подчиненного, то на собственных детей-родителей. Кого-то давим, кого-то грызем, в ком-то обманываемся, кого-то обманываем сами. Уже привыкли.

И только ничья собачонка, рыжий лучик, коротконогий лоскуток Рая, трусит вдоль шоссе, напоминая прохожим и проезжим, что ведь можно жить и по-иному.

## Воспоминание об утке по-пекински

Алла Киреева, жена Роберта Рождественского (до сих пор не могу называть ее вдовой) спросила:

- Ты помнишь, как мы ходили в ресторан «Пекин»?
- Помню.
- Напиши для меня.
- А зачем тебе?
- Хочу себя проверить. Пишу книгу...

Мы с Аллой дружим больше шестидесяти лет. У нас вот так. Бывает же – оба дожили. Просьба друга – закон. Попробую вспомнить.

В те, уже очень далекие годы, любой ресторан был заведением изысканным, элитарным, «Пекин» тем более. А поход туда – целым событием. Потому и запомнился.

У нас был столик на пятерых, точнее, на шестерых, но один стул пустой. Компания была вот такая: мы с Аллой и три великих поэта: Евтушенко, Рождественский и Соколов. Правда, тогда они еще не были великими поэтами, были просто Женька, Роберт и Вовка, но талант уже дал о себе знать. Все мы учились в Литературном институте. Странное время: три четверти студентов были взрослыми и очень бывалыми – войну прошли, и писали, в основном, о ней. Их имена уже тогда получили вполне заслуженную известность, хотя сидели с нами за теми же убогими столами и неохотно зубрили тексты к тем же зачетам. Фронтвикам было куда труднее, чем нам, вчерашним ученичкам – мы еще не забыли школьные предметы, ту же литературу или язык, им же приходилось все усваивать заново. Студенческое братство всех уравнивало, все на «ты». Дружина была Юля, Ваншенкин Костя, Винокуров Женя, Асадов Эдик, Старшинов Коля. И будущий классик Гамзатов просто Расул, и герой Одесской водокачки Поженян просто Гриша, и участник штурма рейхстага Субботин просто Вася, и сильно обгоревший в танке Орлов просто Сережа. Лишь много позже я понял, как же нам тогда повезло: драгоценный опыт военного поколения мы получили просто в подарок от судьбы.

Итак, ресторан. Чья была идея, уже не помню – наверное, настойчиво предложил Женя: он уже был (с восемнадцати лет) членом Союза писателей, много печатался, был абсолютно уверен в своем будущем и мало нуждался в деньгах. Заказали мы шикарную восточную экзотику: круто прожаренную утку по-пекински и коньяк из вишни, вкусный напиток, по-моему, синего цвета. Гуляй, душа! Однако, пили не так уж и много: традиционная писательская болезнь, которая позже сильно ударила Володю Соколова и краем задела Роберта, в те студенческие годы еще знала свое место – скромно стояла поодаль, ждала своего часа.

Ресторан был не то, чтобы пустоват, но и не переполнен: послевоенная голодуха затянулась, не хотела уходить из Москвы. Зарплаты были низкие, даже не знаю, кто мог позволить себе ресторан. Наверное, чиновники в командировке, офицеры от майора и выше (они тогда получали прилично), торгаша с некоторой опаской, артисты, писатели, адвокаты – словом, хозяева жизни средней руки. Ну и молодые литераторы – обмывать публикацию. На эту гигиеническую процедуру уходил порой весь гонорар.

Разговор поначалу был гастрономический, обсуждали диковинную утку и благородный вишневым напиток. Потом говорили о стихах. В основном, держал площадку Женя. Он тогда быстро развивался, и как личность, и как поэт, его уже в ту пору отличало редкое творческое трудолюбие и то бесстрашие мысли, которое вскоре сделало его голосом эпохи. Соколов, вообще, говорил мало, он был не из ораторов, тончайшая лирика, которую он писал уже в студенческие годы, требовала внутренней тишины. Роберт, вероятно, самый умный из нас и уж точно самый остроумный, говорил мало по двум причинам. Во-первых, он заикался, поэтому в дискуссии ввязывался редко, хотя порой одна его меткая фраза сразу заканчивала спор. Во-

вторых, его роман с Аллой был в самом разгаре, он то и дело оглядывался на нее с заботливым беспокойством – мол, все ли у тебя в порядке? Они еще не знали, что эти студенческие отношения продлятся всю их дальнейшую жизнь. Слава Богу, вышло именно так. Не могу назвать другую, столь же счастливую, творческую семью.

Когда было выпито практически все, Женя почему-то принялся поддразнивать Володю Соколова: якобы, он слышал у кого-то строчку «Снег сгребая валенком». Вовка обиделся – строчка эта была из стихотворения о школьной любви «Снежная королева», которое сегодня, шесть десятилетий спустя, я без особого риска назову гениальным. Видимо, Женин уникальный темперамент даже в самой мирной ситуации требовал конфликта. Впоследствии бесшабашная задиристость вела Женю от скандала к скандалу, пока не сделала Евтушенко первым поэтом эпохи: дряхлеющая диктатура постепенно привыкла к тычкам и оплеухам молодого стихотворца и стала воспринимать их как неизбежность.

Мы с Соколовым жили на одной улице, Двадцать пятого октября, ныне Никольской, я в полуподвале возле Красной площади, Вовка в другом конце, рядом с площадью Дзержинского, ныне Лубянской. Домой шли вместе. Володя бубнил что-то обиженное про Женьку. А я тогда еще не знал, что в будущем веке буду вспоминать, как провел очень вкусный вечер с тремя великими поэтами.

## Витя и Витя

Зашел в Дом литератора по какому-то мелкому делу. Смотрю, к стенду в фойе прилаживают лист ватмана. Стенд этот печальный, не для хороших новостей. Так и есть, фото в траурной рамке. Бог ты мой – Витя Славкин, после тяжелой, продолжительной...

С Витей мы приятельствовали много лет, даже дружили, хотя и не тесно. Встречаясь, были рады друг другу. Я дарил ему свои книги, он звал меня на спектакли, когда числился завлитом эстрадного театра МГУ, был я и участником передач «Старая квартира», которую Витя придумал и сам вел на телевидении, уж не помню, на каком канале. Особенно запомнилось, как мы вместе спасали знаменитый Новосибирский фестиваль бардов, который местные власти из-за выступлений Галича закрывали чуть не каждые два часа.

Витя был человек талантливый, очень добрый и очень интеллигентный – мягкий, уступчивый, напрочь лишенный всякой зависти. Он был не из тех, кто способен работать локтями: локти имелись, но совестливая натура не позволяла.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.